

Шмелев И. В.



История села Мотовилово

Тетрадь 6
1925 г.

12+

Иван Шмелев

**История села Мотовилово.
Тетрадь 6 (1925 г.)**

«ЛитРес: Самиздат»

1976

Шмелев И. В.

История села Мотовилово. Тетрадь 6 (1925 г.) / И. В. Шмелев —
«ЛитРес: Самиздат», 1976

Более 50 лет Шмелев Иван Васильевич писал роман о истории родного села. Иван Васильевич начинает свое повествование с 20-х годов двадцатого века и подробнейшим образом описывает достопримечательности родного села, деревенский крестьянский быт, соседей и родственников, события и природу родного края. Роман поражает простотой изложения, безграничной любовью к своей родине и врождённым чувством достоинства русского крестьянина.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Силивановы: Семион и Марфа | 6 |
| Степан Тарасов | 10 |
| Игроки. Яков Забродин. Баня | 12 |
| Трынков. Мечты | 18 |
| Оглоблины: Кузьма и Татьяна | 23 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 27 |

Тетрадь № 6
1925 г.

Силивановы: Семион и Марфа

В одном селе, даже на одной улице, люди живут по-разному. На Главной улице села на Солнечном порядке существуют три крепкие хозяйства, которые возглавляют Василий Савельев, Федор Крестьянинов и Иван Федотов. Напротив их, на другом порядке, имеется хозяйство, которым руководит такой же мужик, только разве постарше их годков на пять – Селиванов Семион, у которого в хозяйстве не клеится и ничто не прибывает, а только все рушится и идет к упадку. Несмотря на то, что все люди находятся под одним солнышком, дышат одним и тем же воздухом, а вот дела в хозяйстве у всех идут по-разному. У одних все идет колесом, все спорится, а у других все идет как-то наизворот. Вот тот же Семион имеет хотя и невзрачную избёнку, все же свой уголок, имеет лошадёнку, пегую кобылу, имеет в хозяйстве и свою коровенку, мастью черную, как жук, и недаром его старуха Марфа свою корову с нежностью зовет Жукавинька. В шутку спрашивали у нее: «Молоко-то белое или такое же черное?» И семья у Семиона небольшая, всего он да Марфа. Казалось бы, объеды нет, а вот поди ж ты, в хозяйстве не процветает, а кругом только бедность цветёт, непорядок, недостаток, нужда. И работает Семион вроде бы как люди, особенно летом, от зари до зари, а толку мало.

В молодости Семион был здоров и силен. С юных лет он от природы награждён непомерно громким басовитым голосом. Частенько мужики в беседе ему делали замечание по этому поводу:

– Что ты, Семион, гремишь, как вестовая труба. Ты резко-то не кричи, а то на той улице слышно.

– А разве я виноват в этом, что таким голосом обладаю, у меня такой разговор, – оправдывался Семион перед мужиками.

Быть бы Семиону весь век здоровяком, но случилась беда. Лет двадцать тому назад, спасая утопленника, провалившегося под лед парнишку на озере, он бросился в ледяную ноябрьскую воду. Парнишку-то вытащил, спас, а сам безвозвратно простудился. Хотя и угодил из воды прямо в горячую баню, и обтирали его зазябшее тело спиртом, а простуда свое взяла. Видимо, непомерно долго барахтался он в ледяной воде, сильно настыл и, получив туберкулез, навеки загубил свое здоровье, часто кашлял, но свою спутницу, дымящуюся трубку, изо рта почти не выпускал.

– Ты, Семион, хотя бы курить-то бросил, вишь, как у тебя внутри-то хрипит, как худая гармонь играет, – жалея его, делали замечание ему мужики.

– Так-то я лучше прокопчусь, дольше не умру, – отшучивался Семион.

Ходил по селу притаённый слушок, что Семион колдовать умеет и что они вместе со своей старухой Марфой – отъявленные колдуны: скотину могут по злу испортить, молоко от коровы могут отнять и человеку навредить. Говорят, в народе, что Семион имеет книгу «Черная магия», но лично никто у него её не видел. К тому же Семион-то неграмотен и в чтении «ни аза в глаза» не понимает. Но были и факты. Во время венчания Николая Ершова Семион из озорства и лиходейства подшутил над свадебным «поездом», когда молодых везли из церкви после венчания. Незаметно и злонамеренно Семион высыпал на дорогу, где должен ехать поезд, сор, выметенный у себя из избы. Передняя лошадь перед этим местом, вдруг взбеленившись, встала на дыбы и, взбешенно сверкая бельмами глаз, начала храпеть и, не подчиняясь понуканию и кнуту, тупая задними ногами, пятилась назад. Бабы-свахи с перепугу визжали, с боязнью цеплялись руками за грядки телеги. Наблюдавший из-за угла, как забавно пляшет лошадь перед невидимым препятствием, Семион вскорости подошёл и, жалеючи свах, расколдовал лошадь. Подвыпившие мужики, зная, что и заколдовал-то он тоже, не отпустили Семиона даром, они за лиходейство и порчу так отутюжили Семиона, намяв ему бока, что он едва дополз до своей избы. Три дня не показывался он на улицу, стыдясь людей.

У Семиона у самого-то хозяйство иногда посещали разные неувязки и невзгоды. Так, держали они с Марфой до Жуковеньки корову бурой масти. Она оказалась им «не ко двору» – сама себя сосала. Была у него лошадь гнедой масти, так тоже не ко двору: ласка замучила – косы в гриве и в хвосте плела. Пришлось продать и купить лошадь пегую. Держали они кошку рыжей масти, так её домовой с печи безжалостно сбрасывал, пришлось сменить на черную.

Не любит Семион жуликов и воров. Он говаривал: «Пусти душу в ад – будешь богат», «Вор не укажет свой двор», «Вор у вора дубинку украл!», «Что плохо лежит – у Митьки брюхо болит», – последняя Семионова поговорка относится к его шабру Митьке, которого Семион недолюбливал из-за того, что Митька старался навредить не только отдалённым жителям, но и соседям. Попросил прошлым летом Семион Митьку рыжую кошку застрелить, которая была не ко двору, а Митька злонамеренно промахнулся и попал в Марфину клушку – урон сделал соседям и цыплят осиротил. Марфа, выскочив из избы, начала совестить Митьку, отругала, а напоследок укорила, сказав:

– Так делать не годись в шабровом деле!

– Раньше тебя бы за такие проделки в каталажку посадили бы! – высказал свое недовольство Митьке и Семион.

– Среди бела дня обобрал, и взять с тебя нечего, а от поблажки и воры рождаются, – укоризненно ворчал Семион на Митьку, который, засовестившись, поспешил скрыться в свой двор.

Поговаривали люди, что у Семиона водятся «золотые», а некоторые не верили, потому что если бы у него были золотые деньги, он сумел бы перестроить свою покосившуюся избёнку, которая давно отслужила свой век и двумя передними окошками давненько посматривает в лес, желая отремонтироваться. Иные мужики, советуя, предлагая, говаривали Семиону:

– Уж больно у твоего домишки вид-то келейный, чай бы перестроился!

– Я бы перестроился, да средств нету, пока не на что. Вот немножко разбогатею, тогда... а пока кишка тонка, не хватает шеста до берега. В кармане денег-то у меня всего пятиалтынный, – уклончиво отговаривался Семион перед мужиками.

А избёнка действительно была стара, мала и тесновата. Вошедшего в Семионову избу чуть не сшибает с ног овчинно-кислая затхлость и спертость воздуха. На печи, как листва на дереве, шелестят тараканы. Зимний холод, злым кобелем ворвавшись в открытую дверь, обгоняя прищельца, белесым клубом бросается вперед и медленно растаивает под передней лавкой.

Одевание и обувь у Семиона тоже не ахти какие. На этот счет у него тоже свои соображения и поговорки: «Вот изношу эти худые портки, другие приобрету, а запас ни к чему! Сундуки нам не нужны!», «Вот доношу эти лапти – другие сплету. Были бы лыки, а руки и кочедык имеются. Сколько я за свою жизнь лаптей-то износил, испаркал, если бы их собрать все в кучу, гора целая получилась бы».

От своей бедности Семион вместо рубахи носил почти один ворот. Самой-то рубахи-хозяйки уж и в помине нет, а остались одни постояльцы: заплатка на заплате. Подносившийся рванный его пиджачишко из портняжного материала, не сохраняя тепла, скудно прикрывал его тощее, костлявое тело.

– Хлеб съеден, денег нет, придётся обратиться к людям, займы попросить, больше выхода нету. Марф! Так я баю, что ли!? – с досадой на свою жизнь обратился он к своей старухе.

– Так, так! – добродушно отозвалась та.

– Знать, вся отрада у нас с тобой, все наше утешенье – Жукавенька, и больно к стати отелилась она. Теленка-то в избу внесем или пушай с матерью денька два побудет?

– Нет, надо внести сразу, а то на дворе-то вон какой холодище стоит, и корова-то его раздавить может.

– Теперь хоть молочка поедим, а то заголодовались. Какой день мы с тобой на пище святого Антония живем?

– Ты хоть бы, Марф, в сусеках все выскребла!

– Да я уж думала об этом, да там нет ни мучинки.

– Не сходить ли к Савельевым, попросить мучки с полпудика. Василий-то милостивый, он выручает, кто попросит.

– Пойду, будто бы за подквасьем, закваски выпрошу и на счет муки закину словечко. Если не откажут, то за одно и квашни попрошу, – с такими наговорами Марфа отправилась к Савельевым, а Семион, оставшись наедине, еще глубже погрузился в размышление о том, как же все же в своем хозяйстве научиться сводить концы с концами, ведь хлеб да вода – плохая еда, а теперь и хлеб-то кончился. Как же быть? – оглядывая прочерневшее от печной копоти и от табачного дыма нутро маленькой избёнки, которое едва освещала лампа-коптилка без стекла. От движения по избе Семиона пламя коптилки судорожно прыгало, металось, едва не погаснув.

– Так жить – только небо коптить! – заключил свои размышления Семион и, взяв в руки недоплетённый лапотъ, принялся за дело. Вскоре вернулась Марфа, принесла закваски, муки на хлеба и печеного хлеба на ужин.

– Сколько хлеба-то навешали? – поинтересовался Семион у жены.

– Безмена не оказалось у них дома-то, на ухвате вешали, там зарубку ножом сделали, по этой зарубке и долг отдавать.

Марфа, замесив хлеба, поставив квашню на печь, стала готовить ужин. Едя хлеб с молоком из третьего удоя, Семион не удержался вспомнить об рыбной ухе и рыбе, которую он целыми летамии полавливал в озере и в Серёже.

– Хоть была рыбка мелка, да уха сладка.

Пужинав на скорую руку, Марфа поспешила на печь за квашней присмотреть, да так там и осталась, пригревшись, растянувшись возле трубы. Хотя и мала Семионова изба и занимает печь с чуланом добрую половину всей избы, но ведь какая русская изба без русской печи. Это все равно, что житель тульской губернии без самовара. Семион, несколько повременив, стал тоже подговариваться, как бы познакомиться с печным теплом. Не обращаясь к Марфе, он заметил:

– На улице холодище, из дома язык нельзя высунуть. За ночь изба выстынет, к утру вода замёрзнет.

Он с вечера весь иззябся. Поев холодного молока с хлебом, его стала одолевать дрожь, он стал судорожно вздрагивать всем телом, его кожа покрылась мелкими пупырышками, как у общипанной курицы.

– Хлипкий я стал к холоду, кровь стала плохо греть, видно, вместо крови-то один квас во мне бултышется, зябок стал, даже в избе зябну, на печь залезать надо, – с такими словами Семион полез на печь.

– Слазил бы на чердак, починил бы боров, а то печь стала дымить, промазал бы трубу глиной, – так недружелюбно встретила на печи своего старика старуха, складывая свой старенький рубцеватый кафтан и делая из него вид подушки. Семион с недовольством, раздраженно, сердито заворчал на Марфу:

– Тетеря, баба Яга, – досадливо бурчал он не нее. – Подвинься! Что ты как приросла к одному месту!

– Куда я подвинусь!?! Тут квашня с тестом, – огрызнулась Марфа.

– Сама-то ты квашня с прокисшей похлёбкой! – грубо обозвал Семион старуху, да так сильно и без расчёту толкнул её в бок, что та нечаянно уронила квашню на бок и тесто из нее вывалилось. Тесто расплзлось по печи, распространяя кислый дух закваски по всей избе.

– Что ты наделал! – с досады, зла и горя, стучаясь головой о стену, обрушилась Марфа на старика, – последнее тесто испортил!

– А ты бы не топырилась, как коряка! Зачем ты головой-то об стену стучишь?

– А ты кочедык старый! Не учи меня, стучать или не стучать мне головой! Без сопливых знаю, что делаю!

Собрала Марфа с кирпичей тесто, уложила его снова в квашню. На второй день испекла хлеба. Похрустывал хлебец на зубах песком, да взыскивать не с кого. Семион ел его, прихлёбывая молочко, похваливал.

Степан Тарасов

Живет на улице Моторе Степан Тарасов. Мужик небольшого роста с широкой рыжеватой бородой. Степан обладает невзрачным хрипловатым голосом, но это не мешает ему быть руководителем левого клироса, так как он отличный знаток церковного устава и всех канонов богослужения. Не особенно опрятен и не взыскателен, но не в меру трудолюбив и экономен, нерационально скуп. Характер у Степана торопливый, за что и прозвали его мужики «торопыгой». Зимой, по субботам, в баню ходит в лаптях, моется там, не разувавши, считая, что ноги мыть не обязательно – летом во время сенокоса они отмоются сами, когда залезешь в болото косить. Заработавшись в токарне до поздней ночи, за станком от усталости он брякался на стружки, тут же у станка засыпал крепким сном мученика, так же не разувааясь из лаптей.

Поблизости от Степановой избы случился пожар. Как сам же Степан про себя мужикам рассказывал: «Я вскочил из-под станка, второпях, да еще и впотьмах бросился было к двери и, как на грех, зацепился за что-то лаптем, никак не высвободится, силой рванул, а нога-то из лаптя вывернулась. Еще хуже стало, шагать-то нельзя. Тут я и пометал икру-то, чуть было сам-то не сгорел».

Денег своим трудом нажил немало. После революции у него много их «лопнуло», да и теперь накоплено немало. Частенько он вынимал пачки, любовался, какие красивые, возможно, пойдут? По зимам он, как говорится, не вылезал из-за станка, работая с сыном с раннего утра и до поздней ночи, ежедневно выкидывая на двор по двенадцать штук каталок. А по летам имея двух лошадей, не вылезая из хомута, работал в поле.

До революции он также имел свой собственный лес, который берег, как и деньги. Деньги на черный день, пачками укладывая в сундук, пряча их в мазанку под тремя запорами.

Собрался Степан в лес поехать за дровами. Запрягши лошадь в дровни, вошёл в избу позавтракать. Ел за столом, не раздеваясь, а когда, наевшись, вылез из-за стола, долго искал по печуркам варежки, а они оказались за кушаком. Наворочал Степан в лесу дров высоченный воз, так что его лошаждёнка натужно волокла, от истощения и бессилия часто вставала:

– Но! Но! Миля, давай, буланый, тяни! – понукал Степан лошадь, без нормы отпускаая на ее бока кнута, на конце которого Степан предусмотрительно ввил пулю. Но уставшая лошадь на пулю не реагировала, только тем, что буйно лягалась, подбрыкивая задними ногами, норовя, видимо, выпрыгнуть из мучительных оглобелей, и не думала стронуть с места стромкий воз. Догнавший его попутчик, Иван Федотов, понимающий в лошадях, видя хлопоты Степана около лошади и воза, остановивший свою лошадь, сочувственно предложил Степану:

– Ударь-ка ее кнутом-то, хлыстни еще разок, и я тебе скажу причину, почему она не везет.

– Почему? – обрадовано спросил Степан.

– Потому что ты наизнанку вывернул русскую пословицу «Не гони коня кнутом, а гони его овсом!» – с явной подковыркой, ехидно засмеялся Иван, судорожно трясая своей жиденкой козьей бородкой.

Сконфуженный Степан начал оправдываться:

– Ее корми, не корми – толку мало, ведь у нее под хвостом-то дыра! – укоряя лошадь, провозгласил Степан. – Все равно на дорогу все вывалит, – полушутливо добавил он.

– Раз дыра, так надо ее зашить! – не выдержав такого упрека к безответной скотине, усмехнулся Иван. – А у цыгана, говорят, лошадь одиннадцать дней без корма прожила, а на двенадцатый подохла. Еще бы один день перетерпела, и совсем бы привыкла без еды жить, но, не выдержав срока, копыта вздернула, – не переставая упрекать Степана, назидательно злословил Иван.

– Да тебе я баю, она редкая и прожорлива, сено ухобачивает за обе щёки, а толку нету! К тому же она с ленцой, – укорял свою лошадь Степан.

– А для ленивой лошади кнута не жалеют! – поучительно вставил Иван, – но здесь дело не в лени. Видишь, как у нее бока-то подвело, торчат одни будылы, да кости с ребрами обозначились, как тычинки в заборе, по ним хоть палкой, как по забору играй. Ну ладно, словами делу не поможешь, давай подсобим ей воз с места сдернуть и поедем, – предложил Иван, и они с Степаном, упёршись сзади в воз и «нокнув», стронули воз. Отдохнувшая лошадь, чувствуя, что ей помогают, натружено зашагала по дороге, снова потянула сани с возом, медленно передвигаясь к селу. Под полозьями саней скрипуче шуршал снег.

Едя сзади Степана, Иван мысленно ругал таких нежалливых к лошадям людей, как Степан:

– Живодеры проклятые, дерут лошадок без жалости и без пощады, а покормить бессловесную скотину забывают!

А Степан, не слыша укоров Ивана, размеренно шагал сбоку воза, и чтоб не забывалась в дороге его лошадёнка, он, понокивая, наделял ее кнутом. После этой поездки в лес Степанова лошадь захворала, запаршивела. Сводил он ее в коптильню, а она и совсем захрясла, даже отказалась от предложенного ей сена. Вскорости пришлось Степану подвесить ее на веревках во дворе, чтоб она не залежалась в хлеве. Видимо, настало время отдать дух и вздернуть копыта кверху, отработав свой век. Лошадь издохла. Сначала пожалел Степан свою лошадку, что было за нее немало отвалено – полкатеньки, а потом, сказав, что она была больно редкая, забыл о ней.

Игроки. Яков Забродин. Баня

Яков Забродин еще в молодости, коломши петуха, из жалости к нему, отворотясь, тяпнул топором. Петуха только искалечил, а себе отхватил два пальца не левой руке. С тех пор ни топора в руки взять нельзя, ни сапожничать. Так с тех пор и служит Яков сторожем в совете. Сторожит Яков сельский совет, за порядком смотрит, хулиганов унимает. Где бы после ночного дежурства домой ему скорее идти, а он, дождавшись первых посетителей, председателя и секретаря, тут остается. Балагурит, курит с мужиками, рассказывает им разные небылицы в лицах, людей смешит, но сам редко, когда улыбнется.

Пользуясь случаем, мужики, весь век курящие на чужбинку, целыми уповадами «кормились» около Якова кисета, который Яков с вечера набивал до отказа. Рассказывая диковинные истории, якобы происходившие с ним самим, Яков нахваливал свой табак, что он, мол, очень хорош – «с крайней гряды от бани», табачок – одни корешки, туманит мозги, засоряет легкие – очищает кишки, до самой задницы достаёт. Балагурия, нахваливал Яков свой табак. Его кисет почти никогда не «сидел» дома – в кармане его мешковинных худоватых штанов, а почти все время разгуливался по рукам вкруговую рассеявшихся в совете мужиков. Некоторые заядлые куряки старались заграбастать порядочную щепоть табаку, чтоб под шумок запастись и впрок. Яков, хотя и не наблюдал за кисетом, но всем своим существом и проницательным чутьем замечал эти проделки «нахлебников», разоблачал их и безжалостно обличал их, невзирая на лица, наделяя непристойными словами: «Надо поменьше пить, да свой иметь! Какой ты как чужбинку-то простой: где пообедал, туда и ужинать идешь!» – совестил он провинившегося, «Дивуй бы ночью, а то днем ворует!»

Иногда Якову (кто его постарше) делали замечания:

– Ты что, Яков Спиридоныч, домой-то не торопишься, отдежурил ночь и домой бы шёл.

– А чего я дома-то забыл, дома-то одному-то мне скучно. Я и так в одиночестве от безделья в своей избе все изучил. Знаю, сколь половиц в полу, знаю, сколько потолочин в потолке, сосчитал и знаю, сколько сучков, щелей на полу и потолке, взял на учет мух и тараканов. Мух я с осени почти всех перебил, а с десяток оставил.

– Это зачем же? – спросил его Степан Тарасов.

– Для раззаводу! Муха – это такая противная тварь, вместе с теньтиком ядовиты. Съешь с пищей муху – тут же сблюешь, а таракана съешь – ничего не будет. Без тараканов в избе как-то скучно, особенно зимой. На улице пурга и стужа несусветная, а ты заберешься на печь, там тепло и уютно, от тишины жутковато, вот тараканы-то и развеселят твою душу своим шуршанием в щелях. Уж больно забавно. Я люблю, когда тараканы заботливо лазают по щелям и хлопотливо поводят своими усиками, словно слепой нащупывает дорогу клюшкой своей. И без мух-то в зимнее время нельзя. Пролетит, прожужжит в избе муха, и тут же напомним тебе о весне и лете, – сказал Яков и снова начал:

– На дежурстве во время карауленья, конечно, спать не позволительно. Если будешь спать, так какой из тебя сторож, а вот утречком, придя с дежурства домой, завалишься на печь – это, конечно, зимой, а летом на кутник, и спишь себе, как барин, в свое удовольствие. Конечно, ведь весь день не проспешь, проснёшься круг обеда, очнешься, откроешь глаза и так мечтаешь. Время для наблюдений и всего прочего хватает. Благо, жалование идет. Спишь – идёт и не спишь – идёт. Пройдёт месяц – мне пятнадцать целковеньких подай, не грехи. Вот так мы со своей бабой Фектиньей и поживаем, добра наживаем, за нуждой в люди не ходим, своей хватает.

– А вино-то ты попиваешь? – поинтересовался Иван.

– А как же. Ево казна и делает для того, чтобы люди его пили, его есть-то нельзя. Я его люблю, вот и попиваю, особенно по праздникам, а уж в день своих именин (в день Иакова

Прекрасного) я непременно выпью до повалухи. Но, кстати сказать, на дежурство никогда не опаздываю, хотя разок было. Опоздал я не по своей вине, а из-за бабы. Председатель пожурил меня малость за это, но строгих мер ко мне не принял.

– Вот вы баете, что я домой не спешу. Признаться, сказать – боюсь. Боюсь часто по улице ходить, а боюсь, конечно, не людей, а собак. Их, окаянных, в селе столько развелось, что отбою от них нет. Особенно у Митьки их целая свора, а мне ведь приходится ходить около его дома. Как-то раз иду в забытти мимо Митькиного окошка, а собака, как супостат, выскочила из подворотни и давай на меня тявкать. Напугала до полусмерти, я аж всхлипнул от страха. Я было на нее клюшкой, а она схватила мне за штаны и давай меня волтузить, я было бежать, а она, сука, еще сильнее остервенела, мурзует штаны – только ключья летят. Ладно, до тела не достала, а штаны натурально продырявила, особенно овтоку. Иных взбеленившихся собак я обычно угощаю и умиряю палкой, а тут как-то сплеховал, намахнулся, а палка из рук вырвалась, в сторону улетела, вот собаке-то и лафа, – увлечённо рассказывал Яков о своих схватках с собаками, а сам изничком наблюдал за тем, какое впечатление производит его рассказ на мужиков и не обнаружена ли ими его оплошность. А дело в том, что накануне Яков на ужине плотно наелся редьки с капустой, от недоброкачественной грубой пищи всю ночь в животе у него, по словам его, шла какая-то революция, вот уже целые полусутки с клокотом что-то переливается по кишкам, урчит, то и дело газы проносятся наружу.

Сохраняя степенство и вежливость, Яков с трудом, но упорно сдерживает их в себе, но разве удержать разбушевавшуюся стихию, и он в критические минуты народно скашливал, маскируя свою оплошность. В совете, хотя и было накурено сизого дыму, хоть топор вешай, Степан Тарасов и то обнаружил примесь к табачному дыму, запах живого и, зная, от кого он происходит, Степан не сдержался, чтоб не заметить:

– Яков Спиридоныч, видать, здорово тебе собака-то навредила, штаны-то изорвала. Недаром, у тебя из отдушин-то сильно разит!

Мужики весело рассмеялись:

– Ха-ха-ха!

– А ты со своим носом не суйся туда, куда тебя не просят! – невозмутимо оправдывался Яков. Снова взрыв весёлого мужичьего смеха.

Придя домой и поставив в уголок за кутником свою спутницу-клюшку, на которой Яков старательно ножичком вырезал свои инициалы Р. J З. Пообедав, пошёл топить баню, благо день был субботний. В бане особенно, которая топиться по-черному, такая именно и была у Якова, не только намоешься, а как следует и испачкаешься в саже на потолке и на стенах, висит столько сажи и копоти, так что хоть лопатой гребь. Случайно, чтоб проведать, как топится баня, заглянула в нее Фектинья и обомлела, все лицо у Якова измазано в саже:

– Ты что это, Яков, так изваракался?

– Разве? – по-простецки удивился Яков.

– Ты погляди-ка в зеркало? – предложила жена.

– Я и без зеркала чую, что на лице сажи с пуд. Ну, это даром не пройдет, не к добру, – наивно сокрушался Яков.

В баню мыться и попариться к Якову напросились его соседи Семион и Осип. Все они втроем большие любители крепкого пара. Пока баня дотапливалась, они в предбаннике вели разговор о старинушке. Вспоминали, как жили раньше, какие были их покойные отцы и деды. Первым оповестил своих товарищей хозяин бани Яков:

– У меня дедушка был такой жаркий! Во время поездки на лошади с извозом в зимнее время были случаи, среди дороги оглобля вывернется, так он тут же, выпрягнув лошадь, засовывал рукавицы под кушак, а сам в своих голых руках оттаивал и разминал завертку и оглоблю снова ввертывал на место.

– А мой отец, – продолжая разговор, начал Осип, – был такой: если лошадь в дороге, обессилев, не может вывезти воз из какой-нибудь трясины, так он ее выпрягал, сам впрягался в оглобли и воз свободно вывозил на хорошую дорогу. Он, бывало, говаривал: «Помогать надо той лошади, которая старается сама вывезти воз из топкого места, а которая даже и не пытается стронуть его с места – помогать ей бесполезно». Он, покойник, и людям помогал в таких случаях. «Я едва вывез воз-то из этой тили, а ты лошадь мучил!» – говаривал он и так, покойничек, царство ему небесное.

– А у меня был дедок невысокого роста, а кряжист, как дуб, росший на просторе, – вставил свою речь и Семион, – обладал он, покойник, непомерной силой. На Волге бурлачил, поднимал и носил на своей спине груз пудов по сорок весом. Я, видно, в него попёр, да здоровьем подорвался.

– Слушай-ка, Семион, давно я намеревался сказать тебе, да все опасался, как бы не обидеть тебя. Ты тут уж загнул через шлею без всякой нормы, – урезонил Семиона Яков.

– У тебя, Яшк, голова с печное чело, а ума в мозгах, видимо, ничего! – досадливо упрекнул Семион Якова, – ты бы лучше отмылся, погляди-ка, вся голова в саже.

– Черных волос в бане не отмоешь, – многозначительно говоря, отшутился Яков.

– Ну ладно вам, спорить-то, давайте толковать насчёт пару снова, – ввязался в разговор Осип.

– А между прочим, давайте на спор кто дольше и жарче пропарится в бане, – продолжая разговор, предложил тот же Осип.

– Давайте! – согласились и остальные. Разнагившись, они, как три медведя, вступили в баню. На полок Осип полез последним. Весь в волосах Яков – бурый медведь, Осип – красный, Семион – белый. Надев на голову шапку, на ноги валенки, а на руки рукавицы, чтоб не обжигало, он самодовольно провозгласил:

– Да здесь и пару-то совсем нету! Ну-ка, Яшк, как следует поддай что ли!

На самом же деле баня и так вся содрогалась от пара, и если бы она была на колёсах, то непременно поехала бы, как паровоз.

Яков, поддев в большой ковш воды, остерегаясь ожога, энергично плеснул воду на раскалённые камни-голыши на каменке, опасливо отскочил в сторону. Из хайла каменки диким зверем бросился белёсый пар, заполняя углы бани, обдавая оголённые тела парильщиков.

– Вот это другое дело! – блаженно пробурчал Осип, нахлыстывая свое тело зелёным, пахучим, берёзовым веником, предварительно ошпаренным горячим кипятком. Первым с полка соскочил Семион, за ним вскорости спрыгнул и Яков, а Осип, продолжая хлытать себя веником и мыча от удовольствия из замаскированного паром угла полки, победоносно давась сухим паром, прошамкал:

– Вы что отсюда повскакали? Ай, сбердили? А мне хоть бы што!

Победил в споре Осип. Яков с Семионом, пополоскавшись в воде, вскоре вышли в предбанник, там оделись и разошлись по домам, а Осип, попарившись на просторе вволю, блаженно помылся в двух водах, смыв с себя грязь и пот, тело его делалось таким, каким бывает рак, когда его вытащат из кипятка. Здоров и силен Осип с молодости. Или в отца он выдался, или сам по себе налился силой, или паром он выгоняет из себя всякую немощь, только в селе он славится как обладатель непомерной силы. Драться с ним лучше не связывайся, сграбастает и забросит в сугроб, а там барахтайся в снегу.

То ли от пара, то ли от недоглядки Якова, только случилась беда. Не успела из бани, помывшись, прийти домой Фектинья, как на улице тревожно забегали, закричали «Горит!». Отдыхавший на кутнике Яков торопливо выскочил из избы, взглянул, а его баня вся объята пламенем. Бабы торопливо таскали воду ведрами с озера, благо прорубь оказалась поблизости, мужики, вооружившись топорами и баграми, растаскивали баню по бревнышку в сторону,

гася их снегом. Растерявшийся от неожиданности Яков не нашёл больше ничего сказать, как крикнуть мужикам:

– Да погодите растаскивать баню-то! Бревна надо переметить.

– Да разве на пожаре есть, когда метить! Пока метишь, вся баня сгорит! – упрекнул его Иван Федотов с весёлой усмешкой, с топором в руках, выламывая банную дверь.

Беда не ходит в одиночку – идет горе за несчастьем. После бани и пожара разгоряченному Якову захотелось попить чайку. Фектинья поставила самовар, а когда он вскипел, Осип поставил его на стол и принялся за чаепитие. Наморившись от жажды, Яков нетерпеливо стал наливать в чашку кипятку, но вода медленно текла из засорившегося крана, и он решил его продуть. Отвернув кран, Яков, припадши, в него дунул, кипяток, хлестнув, обжёг Якову губы и ошпарил кожу во рту. Кожа мгновенно вздулась пенками, он выплюнул ее на ладонь. Якова отвезли в больницу, где он пролежал три дня, а потом выписали домой.

Проболел Яков с неделю. В это время на дежурство в совет не ходил, там обошлось дело и без него. В эту неделю есть было нельзя, особенно жесткую пищу, довольствовался он только киселем и сладкой водичкой. От скуки ради Яков приглашал к себе в дом по вечерам любителей поиграть в карты. С юности своей он любит переброситься в картишки, побанковать «в очко». Позабавиться игрой в карты в этот вечер к Якову собрались парни Минька Савельев, Федька Лабин, еще несколько парней и мужиков. Пожаловал Кузьма Оглоблин. Сюда же приплюхал со своим медным пятаком и Семион. Он решил испробовать, не посчастливится ли, не выиграет ли на свой пятачок с целковый денег, которые бы так пригодились в хозяйстве.

Хозяин избы Яков гостеприимно встретил игроков жестами (ему от ожога трудно еще было разговаривать), просил проходить к столу. Проходя вперед, Оглоблин Кузьма бегло осмотрел внутренность избы, попутно обратил внимание на пол, от изношенности на котором высоко выступали сучки. Видимо, немало было пошаркано ногами по нему. В избе накурено, хоть топор вешай. Как говорится, переливается дым коромыслом. Табачный дым, разместившись в два яруса: сизый занял верх, а зеленоватый колыхался внизу, под лавками и под столом – скрывая ноги людей. Верхние струи белёсого дыма маскировали лица игроков, и только по догадкам можно определить, чье лицо.

Во время игры в карты как-то принято курить всем. Видимо, в это время азартнее каждый себя чувствует в желании выиграть, и дым в таких случаях, видимо, становится вкуснее и слаще. Поэтому-то и курят все, нещадно наполняя дымом внутренность избы, коптя ее стены и потолок, невольно забивая свои легкие копотью. Некоторые, особенно Федька Лабин, искусно дым выпускали кольцами и причудливыми завитушками. А некоторые, как Оглоблин, не выпуская «сосульку» изо рта, искусно морщат свое лицо, избавляясь от назойливой струи дыма, которая нахально так и лезет в глаза. Яков же курил по-особенному: он, затянувшись папироской, величиной с оглоблю, с нарочитой медлительностью выпускал изо рта и ноздрей дым и вторично снова его втягивал через рот в себя, словно жалея напрасно тратить живительную силу дыма. Дым при его разговоре затейливо то влетал снова ему в рот, то снова выталкивался оттуда. Семион со своей «кормилицей» трубкой тоже не отставал от остальных. Он обильно заполнял дымом все углы и закоулки Якововой избы. Некоторые к полуночи, обес-табачившись, становились нахлебниками Якову. Никому не отказывая, он охотно допускал к своей железной банке из-под чая, до краев набитой пахучим табаком-самосадам. Чувствуя такую лафу, курили, дымили, коптили...

Рассевшись за столом, игроки принялись за игру.

– А кому банковать? – спросил Федька, вынув из кармана новенькие, только что купленные в лавке карты. Он щегольски трепыхнул ими, стал раздавать игрокам «до туза». Первому банковать досталось Миньке Савельеву. Обойдя круг и обыграв почти всех, он объявил «стук», выделив из банка гривенник хозяйке избы за квартиру и табак.

Сняв с банку кучку звенящей мелочи около рубля, повеселев и чувствуя себя окрылённым от успешного начала игры, Минька стал терять чувство меры и нерасчётливо начал метать ставки, наугад набирая очки. Банковал и Семион, он старательно прикуплял себе карты, стараясь набрать не очко, так двадцать, чтоб его пятак домой возвернулся сам и за собой приволок хотя бы рублишко выигрышу. Он потаённо выжимал очки, с азартом вымарщивая их, кладя колоду карт на стол. При этом он пыхтел, сопел, тужился. Внутри у него klokотало и хлипало, словно там кто-то играл на худой гармонии. Кузьма, не стерпев, заметил:

– Что это у тебя, Семион Трофимыч, внутре-то так барахтит?

– Это у меня одышка. Я обращался в больницу, там мне дали каких-то порошков и поила бутылку, а все равно не лучше стало. Так и дышу всем станом.

Нет, не повезло Семиону. Накопилось было в его банке с полтинник медяков, задрожал было он от радости всем телом, а потом растаскали у него, кто пятачок, кто семишник¹, а кто и гривенник, разграбив этим всё наличие его банка. Обозлённый досадой на проигрыш, сконфуженно вылезая из круга, уступая место более денежным игрокам, он с тоской в голосе проговорил:

– Нет, видимо, вчера вечером я в обмешулках кому-то деньги выдал, нарушил народную примету «не давать денег на ночь», вот из-за этого и счастья на выигрыш нету.

Обозрев всех игроков, свой взгляд остановив на Кузьме, встрепенувшись, он приступил к нему с вопросом:

– Слушай-ка, Кузьма, а у меня за тобой должок числится.

– Какой должок? – недоуменно протянул Кузьма.

– Как какой? Ты рази не помнишь, еще в прошлом году ты у меня в городе двугривенный занял.

– Нет, не помню, а и помню, так я тебе его сто раз отдавал, – сопровождая невозмутимой улыбкой, оправдывался Оглоблин.

– Нет! Не отдавал. Хоть бы раз-то отдал, где уж там «сто раз», – продолжая настаивать на своем, напирал Семион на Кузьму.

– А оглоблю-то я тебе давал, ты что, про нее забыл? Чай, она двугривенный-то стоит, – обрадовано козырнул контукором Кузьма. – Так что, Семион Трофимыч, я считаю, мы с тобой квиты.

Нечем было оправдаться Семиону. Он мрачнее грозовой тучи поднялся с места, направился к выходу и так злобно хлопнул дверью, что все игроки многозначительно переглянулись. Не прошёл Семионов номер получить должок с Кузьмы, на который он бы снова попытал завладеть счастьем в надежде на выигрыш, но судьба и рок, видимо, рассудили по-своему. Пришлось Семиону вернуться домой не только без выигрыша, но и без последнего пятака.

После ухода Семиона игроки разыгрались вовсю, они засиделись далеко за полночь. Каждый владел какой-то скрытый внутри азарт и неотвратимая уверенность, что именно он обыграет всех – все деньги, ходящие в кругу, непременно в конце концов окажутся у него в кармане. Особенно неудержимым азартом увлёкся Минька Савельев. Он оказался заядлым игроком, его хоть хлебом не корми, только бы сыграть. После полуночи игроки понадоевшее «очко» сменили на другую игру, стали играть в «кондру». В кону сгрудились почти все деньги, что имелись в ходу у игроков. Желая овладеть всем «котлом», Федька, имея у себя на картах тридцать одно очко, гарантино «подпустил» под партнеров последний имеющийся у него в наличии рубль. Все побеждено и безнадежно побросали карты в колоду, один не сдавался Минька. У него в руках беспроигрышные три туза, но вот беда, замирить рубль нечем, денег в карманах не осталось ни копейки, перезанять не у кого. Завязался спор, поднялась невообразимая кутерьма, и оспаривающие каждый свое – крики. Обезденевшиеся игроки смотрели со стороны, что будет.

¹ Семишник – новая двухкопеечная монета равная равна старым семи копейкам.

– Не ори, а то я тебе заткну глотку-то! – наступал Минька на Федьку, который, не отступая, требовал от Миньки рубль в кон для замера. Дело дошло до обоюдной драки. Вцепившись друг другу в волосы, пошли волтузиться и поддавать друг другу пощёчины, взаимно ударяя по скулам. Но слаб Федька против минькиного кулака. Развернувшись, он так пырнул кулаком Федьке в зубы, что тот, заохав, выплюнул на ладонь окровавленный осколок зуба. То ли с испугу, то ли еще с чего, растерявшийся Минька бросился к выходу и вернулся домой расстроенный и не в меру возбужденный, а главное – проигравшимся до нету.

После, во всех подробностях узнав от Фектины Забродиной, что произошло в тот вечер. Узнав, что Минька в тот вечер проигрался, как тюттик, мать укоризненно упрекала сына:

– Что? Проюлил! Прохандрыкал денежки-то! Профыкал все до рублика! Нет теперь у тебя их!

– Да не все, – робко оправдывался перед матерью Минька.

– Где же они у тебя, покажи! Нет, видно, все киска съела! Эх ты, тюфила, мешали тебе в кармане денежки-то?

Сконфуженный Минька, понутив голову, молча выслушивал справедливые упреки матери. Он ведь в глубине души осознал свою ошибку, что в тот вечер не пошёл в келью к девкам, а пошёл играть. Проиграв трёшницу, заработанную им.

Трынков. Мечты

Семья Савельевых сидела за столом – обедала. Сам хозяин Василий Ефимович, как и всегда, за стол угодил последним. Он, только что вошедши со двора, вымыл из рукомойника руки, тщательно вытер о висающие на гвозде у рукомойника и служащие утиркой для рук всей семье, о свои уже изношенные подштанники. Помолившись, также присел к столу, заняв свое «хозяйское» место на передней лавке.

В это время к ним пришёл Иван Трынков. Плотно затворив за собой дверь, он проговорил:

– Эх, как у вас дверь-то захрясла, еле отворил.

Перекрестившись на иконы и сказав обычное «хлеб да соль», он с целью почтительного рукопожатия прошёл вперед, поддерживая левой рукой широченное запястье чапана, потянулся через стол, подавая хозяину руку. Василий Ефимович, поморщившись, укоризненно заметил:

– За обедом за руку здороваться не полагается!

Рука Ивана вяло обмякла, судорожно слегка опустилась, облохматившийся край рукава чапана коснулся чашки, в которой теплились жирные щи. Сидевшие за столом, брезгливо переглянулись, а Иван, огорошенный хозяином, устыженный, сконфуженно, с жаром в лице, задом упятился к порогу. Он блуждающим взором стал наблюдать, как оставленные его грязными лаптями снежные следы-шматки от избного тепла расплзаются в грязные лужицы.

– Раздень чапан-то и сядь, – предложил Василий Ивану.

Оправившись от неловкости и конфуза, Иван позволил себе сесть на лавку и, смягчая свою оплошность, трескуче выкашлявшись, начал разговор о деле. Уведомив (сообщив как новость), что на улице пуржит, свету вольного не видать, Иван разговор начал с тараканов:

– У нас в дому этих тараканов развелось, прямо несметная уйма, на печи тараканы, на полатах тоже, в чулане хлеб обгрызают, по полу идешь, а они, как семечковая шелуха, хрустят, прямо от них отбою нет. Уж чего они додумались, на стене в часы забрались, механизму заполонили, что они даже встали.

– А вы бы их выморозили, – посоветовала хозяйка Любовь Михайловна.

– Только и стоит, – добродушно и наивно отозвался Иван.

Вообще-то Иван – человек по своей натуре простой и не злопамятный, на обидчиков своих он долго не сердился и говаривал на этот счет: «Меня обидели даром – и я прощаю даром». Он и милостив, как святой Филарет, который бедной вдове безвозмездно отдал сначала теленка, а через день и корову, говоря, как же будет теленок жить без матери. Иван, пообвыкнув, стал продолжать свой разговор о тех же тараканах:

– Да ведь, голова, мы их с бабой решили не морозить, а решили вывести заворожками. Зашёл как-то к нам прохожий татарин, взглянул на печь и ужаснулся: «Как это вы с такой обузой живете? Хотите я их у вас выведу всех?» Мы с Прасковьей согласились. Татарин попросил у нас листок бумаги и карандаш. Мы подали. Облокотившись о печь, он стал что-то записывать и шептать заклинания про себя, а потом, свернув бумажку вчетверо, подал ее моей Прасковье, строго-настрого наказав, чтобы она, не читая, положила эту бумажку в подпол на завалину под печью. Через четыре дня в доме ни одного таракана не будет. Взглянуть не останется. Прасковья моя, да и, следили за тараканами целую неделю, а их как было целые полчища, так и осталось, разве только те погибли, которые попали в опись, когда татарин переписывал на бумажку. Нетерпеливая хозяйка через неделю все же поинтересовалась, что же написано на бумажке. Слазила в подпол, достала оттуда ее, а на ней было написано: «Тараканов тьма и тысячи, погибайте!» Может быть, тысяча-то и погибла, а их у нас несметная тьма. Значит,

татарин просто-напросто надул нас, долго мы смеялись с Прасковьей сами над собой и жалели трёшницу, которую отдали татарину.

Сидящие за столом весело рассмеялись. Добродушно смеялся и сам Иван. У него поперхнуло в горле, он закашлялся и долго не мог вымолвить слово в продолжение своего рассказа.

– Так-то оно так, Василий Ефимыч, – наконец оправившись от задорного смеха, обратился Иван к Василию, – я ведь пришёл к тебе с большим делом.

– С каким, сказывай, – заинтересовался Василий.

– Забрела мне в голову одна мысль, и никак не вытрясешь её из башки. Осталось только выполнить намерения. Надумал я, Василий Ефимыч, построить мельницу-ветрянку, ведь у меня сын Олешка-то, корабельный мастер, живо мельницу воздвигнет. А мельница будет, тогда и дело проще простого: ветер есть – мели, ветру нет – каталки долби. Ведь неплохо, а?

– Конечно, нет, – стараясь угодить Ивану, отозвался Василий.

– Дом я тогда построю новый, всем на диво, на каменном фундаменте. А печь класть буду непременно летом, чтобы не истрескалась. Да разве с нашими бабами чего сделаешь? Как-то ночью я подъеферился на постеле к своей Прасковье, поделился с ней этими планами, а она вместо поддержки отругала меня:

– А ты уж, – говорит, – не выдумывай, лишней-то обузы на себя не натаскивай. Вот и поговори с ней. Дело бают: у бабы волос долог, а ум короток. А ведь жена не рукавица, с руки не сбросишь, приходится её и слушаться.

Под общий смех и улыбаясь сам, в мечтательном увлечении от сладостного предвкушения, его губы приняли вид воронки, похожей на раструб мясорубки, он вдруг выпалил:

– Взбрело мне в голову заняться какой-нибудь торговлишкой, и эта мысль угнездилась, видать, не на шутку.

Обедавшая семья Савельевых снова весело рассмеялась. За столом то и знай слышалось прысканье и закатыстый смех. Улыбаясь, и Иван наивно и простодушно, мечтательно продолжал разговор о том, как можно быстро разбогатеть и выбиться в почётные люди села. Семья Савельевых обедала неспеша. Хозяйка меняла на столе стряпню за стряпней, а их было шесть: щи, картошка, две каши, лапша, яичница.

– Люди торгуют, деньги промышляют, богатеют, а мне что и доли нет. Что, мы не люди что ли? Ведь завидно на людей-то, – мечтательно размышляя, рассуждал он.

– И чем же ты хочешь торговать-то? – с заметной иронией спросил Ивана Василий.

– Лаптями и плетухами! – не без гордости коммерсанта выпалил он.

За столом вновь вспыхнул закатыстый смех. Санька, задрав кверху голову, едва удержался от того, что каша у него изо рта брызгами просилась наружу. А Иван мечтательно продолжал:

– К примеру, взять лапти: товар ходовой, в селе почти все лапти носят, да и плетуха в каждом хозяйстве нужны, ведь без плетухи, как без поганого ведра, не обойтись, каждый рачительный хозяин плетуху купит.

– Оно, конечно, этот товар в каждом доме найдёт спрос, – одобрительно улыбаясь Ивану, заметил Василий.

– Вот только бы не одному, а с кем бы в купе эту торговлю открыть. Ты, Василий Ефимыч, случайно не поддержишь мою коммерцию, а?

– Это чем же, – поинтересовался Василий.

– Или стать моим компаньоном, или же дать мне на первое обзаведение деньжонок. Но на первых порах мне придётся в долги влезть, а там раздую кадилу – сами собой монеты в карман потекут, рубль на рубль ползет. Тогда загребай деньги лопатой, кошелек пополняй. Вот вещь какая, – включил в разговор свою поговорку Иван, – ведь торговля-то не пагубь какая, а это, брат, золотое дно. Для пущего счастья везде подков понабью, и в избе, и в амбаре, и в мазанке. А когда создадутся большие средства, денег появится, что куры не приклюют их, а баба моя

купчихой станет, тогда и кумовство заводить можно станет. Житуха будет – кум королю, сват министру. Через торговлю озолотиться можно. Тогда полеживай на печи, плюй в потолок, – хорохорился Иван.

– Как бы курам на смех не вышло, – предупредительно проговорил Василий. – Тут, конечно, не без головы, надо мозгами пораскинуть, – рассудительно продолжал он, а то как бы на самом деле кур не рассмешить, а то и свиньи захохочут, если ты с первого-то раза обанкротишься, – предупредительно высказался Василий.

– Чай, у меня все свое. Лапти я и сам специалист плести, хотя иногда бывает, заплету, заплету лапоть, а его у меня кто-то опять похитит. Но все равно, конечно, я всех своими лаптями снабдить не в состоянии и не в силах. Так лошадь-то своя, буду поезживать за лаптями в Румстиху, там их, говорят, возами закупать можно. Как у нас каталки точат, а там в каждом доме лапти плетут и плетухами занимаются. Буду там лапти закупать по пятиалтынному, а здесь продавать по двугривенному, от каждой пары лаптей пятак в кармане останется. Есть расчёт? Есть! Правильно ведь я кумекаю, Василий Ефимыч?

– Да оно, конечно, дело заманчивое, – с улыбкой на полном и чисто выбритом лице заметил Василий, – а ты хоть раз бывал в Румстихе-то?

– Быть не бывал, а в которой стороне она находится знаю, ведь не долго съездить-то, лошадка своя, запрёг и тилляля!

– Туда ведь не ближний свет, а верст пятнадцать, пожалуй, будет, – продолжал увещевать Ивана Василий.

– А ты, вон, и в Наумовку за липняком едешь, туда еще дальше будет!

– Да, это верно, что правда, то правда! Ну а церковное-то сторожение ты намереваешься бросить, ай нет?

– Нет, не брошу. Чей, я в Румстиху-то не каждый день ездить-то буду, а раз в неделю смыкаюсь и ладно. Ведь я по целым неделям в сторожке-то лапти плету, в будни делать-то нечего, только по ночам в колокол часы отзваниваю. Конечно, бывают случаи: то крестить младенца в церковь принесут, то отпевать усопшего. В таких случаях от лаптей приходится отрываться. Бывает иногда, заплетённый лапоть по целой неделе под лавкой валяется, засохнет, так и лыки бывают пересохнут приходится их снова тащить на озеро, в проруби замачивать. Пожалуй, вот доплету все лыки и плести лапти брошу.

Сидящие за столом снова все расхохотались.

– Ну, гляди, тебе виднее, – сочувственно проговорил Василий и спросил Ивана:

– А сколько тебе денег-то для начала спонадобилось? И как ты мыслишь это дело вернуть практически.

– Тут, насчёт денег, Василий Ефимыч, другая статья. У меня и у самого денежки водились, ведь как-никак я жалованье получаю, но с Олешкиной свадьбой подорвался, и пришлось даже в долги залезть, а ведь долг не ревет, а спать не даёт! В долг брать легко, да отдавать тяжело. Вот теперь у меня в кошельке-то пока ветерок прогуливается: все деньги выдул, ни копейки за душой нету. Нужда пристигла, заткнуть дыру нечем, а ведь, как говорится, «без денег – бездельник», хотя и другая пословица есть: «Беда денежку родит!». Дело откроется – деньги сами потекут, работнику гривенник, а подрядчику – рубль! – азартно продолжая петушиться, услаждал себя замыслами, продолжая затянувшийся разговор, Иван.

– Так все же, сколько тебе денег-то спонадобилось? – снова переспросил Василий Иван.

– Да так, рубликов тридцать. Не мне! – без расчёта выбухнул Иван.

– Эх, вот это загнул! Ведь это целая корова, – с удивлением выговорил Василий Ивану. – В крайнем случае с червонец я найду, дам займы, на первый случай тебе и хватит, – посулил Василий обрадованному Ивану.

– Конечно, хватит. Вот спасибо тебе, Василий Ефимыч, на поддержке! Я знал, что ты мое намерение без внимания не оставишь. Я только к тебе и решил прийти, поделиться мнением.

Вот развернем торговлю, тогда мы с тобой, Василий Ефимыч, всем на удивление загремим на порядке-то, все только завидовать будут!

– Конечно! – не без иронии, и чтобы потрафить и угодить возгордившемуся и распетушившемуся Ивану, согласился Василий.

Ребята, сидя за столом, продолжая не в меру затянувшийся обед, стуча ложками и слушая разговор отца с Трыновым, весело усмехаясь, хохотали. Санька, между прочим, спросил Ивана, делая ему предложение:

– Тебе, дядя Иван, ведь и вывеску придётся к дому повесить. Ведь торговля без вывески – это какая же торговля. Не каждый проходящий мимо твоего дома будет знать, что тут лапотный магазин, – за столом снова разразился весёлый смех.

– Да и вывеску к углу избы привешу, – добродушно принял санькино предложение Иван.

– А какую ты думаешь ее повесить-то? – поинтересовался Минька.

– Как, какую? Закажу художнику, он на листе железа напишет «Торговля лаптями и плетухами», а внизу подпись «И.В. Трынков», вот и все.

Снова пыхнул смех. Минька, Санька, да и Ванька так рассмеялись, что не удержишь. Санька, не унимавшись, с подковыркой заметил:

– Так, по-моему, будет не правильно, ведь дело-то ты, дядя Иван, начнёшь с папиных денег, а на вывеске будет фигурировать только твоя фамилия.

– Ну тогда вывеску можно написать по-другому, например, «Плетухо-лапотная торговля И. В. Трынкова и Компании».

Снова взрыв задорного и неудержимого смеха, от которого ребята за столом, не выдержав, закатисто захохотали и, поддерживая туго набитые животы, охали из боязи, как бы брюха не полопались от натуги.

– А вообще-то, по-моему, ты, Иван Васильич, зря это дело затеваешь. Как бы все твои хлопоты не пропали даром, только деньги затратишь, – высказал свое сомнение Василий Иванов.

Это изречение Василия не понравилось Ивану. Он даже, несколько вспыхнув, начал возражать:

– Чай, у меня все свое, и помещение, и лошадь, и все такое! Ты разве сумлеваешься, что торговля – золотое дно, а не провальная яма! А про подковы-то ты разве забыл, они всегда к счастью, – разгорячившись, урезонивал Иван Василия. – Уж если и обанкрочусь, то убытка-то немного понесу, один твой червонец, его я тебе отдам, как получу жалованье.

Послышался редкий соразмерный звон набатного колокола. Любовь Михайловна, видя, что гость не в меру засиделся, и чтоб прекратить уже надоевший разговор, сказала:

– Иван Васильич, вон тебя вызванивают. Ступай, кто-нибудь родился, крестить принесли, а тебя в сторожке-то нету.

– Ну и пускай там в сторожке подождут. Раз родился, то обратно не скормолится, подождёт, – шутивно высказался Иван.

– А если не родился, а кто умер? – высказала свое сомнение бабушка Евлинья, – тогда как?

– Тогда другое дело, покойник ждать не будет, сейчас пойду и весь разговор, – согласился Иван.

– Дядя Иван, ты вчера ночью, я считал, вместо двенадцати часов тринадцать раз ударил, – с замечанием к Трынкову обратился Санька.

– Все может быть, бывает, иной раз, отбивая часы, считаешь, считаешь, а потом со счёта сойдёшься, и для надёжности добавишь. Чай, не жалко, от этого колокол не лопнет.

Держась за дверную скобу, Иван несколько раз собирался уходить, но в голове у него снова возникала какая-нибудь новая мысль, он снова отходил от двери, садился на лавку и продолжал излагать свои порой несбыточные мечты.

– Ну, пора мне идти. Я и так у вас загостился, прощайте. Ты, Василий Ефимыч, когда-нибудь загляни ко мне отгашивать, а то я у вас гощу, а ты ко мне в дом и не заглянешь, – позвал в гости Трынков Савельева. Иван ушел. И однажды Василий Ефимыч зашёл к Трынкову в дом. Вошедши в избу, он был вынужден угоститься такой смрадной вонью, что во рту противно защипало, в горле прескверно зачекотало. Его снятая с головы шапка как-то произвольно выпала из рук на кутник. Он было назад, но хозяин дома приветственно вцепился словами в гостя:

– Ты, Василий Ефимыч, подольше погости у меня. Не подолгу гостить, только избу выходаживать! Я и шапку твою своему Кольке приказал спрятать, – с нескрываемой радостью встретил Трынков Савельева, как гостя, у себя.

Теперь, лежа в постели, он по ночам целыми уповадами не спал, мечтательно думал о постройке мельницы и нового дома. В голове у него роились разнообразные мысли, и только к утру он засыпал, когда планы его упирались в выборе места, где именно построить мельницу. У Соснового болота занято, там стоит мельница, а вдали от села строить нет смысла, далеко ходить, да и для помольщиков не подручеходом.

Оглоблины: Кузьма и Татьяна

Кузьма Дорофеевич Оглоблин в сельском совете сначала служил писарем, переписывал то, что дадут. Потом дотянулся до должности секретаря. С делами своими он справлялся хорошо, а в свободное от дел время, особенно в отсутствие председателя, он балагурил с мужиками, которые в частом бывать посещали совет. Он с ними за компанию начужбинку покуривал, занятные анекдоты рассказывал, от дремоты газетки почитывал, которые два раза в неделю приносил почтальон из Чернухи. Увлекался Кузьма также и книжонками, читал их запоями. Имел намерение писателем заделаться. С этой целью он иногда в постель брал тетрадку и огрызок карандаша, записывал хорошие мысли, возникшие в голове. Во время постельных размышлений выписывал в тетрадку подходящие выдержки из книг.

Однажды из Чернухи на мотовиловский адресат пришло доплатное письмо, и долго кумекали, кому же оно адресовано. На конверте было написано «получить Кобылину (но это не точно)» – гласила приписка в скобках. За разгадку взялся сам Оглоблин. «Так это же мне», – когда он пристально взгляделся в адрес отправителя. Письмо было отправлено из Астрахани дальним родственником Кузьмы, который, видимо, забыл его фамилию. Вот уж в действительности «лошадиная» фамилия.

Еще в далеком детстве оставили маленького Кузю одного летом на лужайке, постелив под него пеленку, а для забавы поставили ему горшочек с кашей. Подкралась к ребенку курица, кашу всю склевала и глаз у него выклюнула. Закричал Кузя, не выстошный голос всполошил малолетних нянек, которые курицу-то отогнали, а глаз у Кузи все же остался наполовину незрячим. Остался Кузьма на всю жизнь кривым. Из-за этого его на войну, хотя и брали, но вскорости забраковали и отослали домой. Плюс к тому, он с детства недослышивает – крепок на ухо.

В этот день председатель совета по причине болезни в совет на службу не явился. Из начальства за столом сидел один Кузьма. Он вершил письменные дела, которые касались жителей своего села, а также сел Вторусского и Верижек.

Облокотившись о стол, уткнув голову на руки, он пальцами ерошил волосы, а потом, устало потянувшись всем телом, обозрев присутствующих мужиков, извещающее проговорил:

– Эх, что-то и дремота меня берет, мужики, работа никак на ум нейдет и руки одрябли. Нет ли у кого бумажки, закурить из вашего табачку, а то у меня спичек нет, – закомуристо попросил закурить у мужиков он. Присутствующий тут и куря, пускающий дым, как из заводской трубы, Яков, с удовольствием предложил ему:

– На, закуривай, для хорошего человека не жалко.

– У тебя какой табачок-то? – без надобности поинтересовался Кузьма.

– «Мужичек», сейчас только в лавке купил осьмушку, – нарочно соврал Яков, – а ты не спрашивай, какой табак-то, закуривай и вся недолга. А взамен дай мне для курева газетку. Ведь всем известно, что ты вечный стрелок, – разоблачающее устыдил перед народом и опозорил сторож секретаря.

Вскорости в совет наехал председатель Чернухинского ВИКа, Небоська. Узнав, что Председатель Совета болен и положен в больницу, Небоська сказал Оглоблину:

– Тебе, Кузьма Дорофеевич, временно придется взять на себя обязанность исполнять и должность председателя. Я думаю, ты с этим справишься?

– Неужели, да не справлюсь? – обрадовано отозвался Кузьма. – Все дело, уладим?

Небоська, сев на велосипед, уехал, а едя по улице Мотовилова, он обеспокоенно думал об Оглоблине, как бы чего не учудил. Он в задумчивости стал с интересом наблюдать за непрерывным движением перед глазами покрышки колеса. Его взор порой улавливал подробности рисунка протектора шины. В это время в глаз ему попала мушка, он зажмурился от боли, потеряв управление, наехал колесом на камень. Колесо подвернулось, и он рухнул на землю. Выми-

гав из глаза мушку, Небоська, осмотревшись кругом, сконфуженно стал рукой разглаживать ушибленное место, отряхиваться, вкрадчиво наблюдая за приближающимся к нему шедшего по дороге мужика.

– Андрей Андреич, же, как ты упал! – как новость, известил мужик.

– Да, чёрт возьми, летел как ангел, а упал как черт! – отшутился Небоська.

А Оглоблин, приняв на себя председательствование, тут же рьяно и со всей прилежностью принялся за дело. Сначала он решил ознакомиться с директивами свыше, которые касались только председателя и лежали в столе под особым ключом. Председательских «дел» была целая папка. С трудом читая и не совсем понимая содержание некоторых документов, он, тем не менее, старался вникнуть в суть деловых бумаг. К обеденной поре он так уморился и проголодался, что, совсем обессилив, решил обедать домой не ходить, хотя он в этот день, поспешив на службу, ушёл, не позавтракавши. С утра во рту у него не было маковой росинки. У него в голове мелькнула мысль, послать домой жене «записку», переслать ее с дежурным посыльным, что Кузьма, не колеблясь, и сделал. Оторвав клочок грязноватой бумаги, он от взволнованности, властно, загогулисто и безграмотно вывел на нем: «Дорогая Татьяна Митрофановна! С подателем сей записки прошу прислать мне в совет пирогов или ватружак. Сам я нынча домой обедать не прийду, силно за делами занит, мне ни до-сук Председатель селсавета Кузьма Оглоблин». Чтoб придать этой записке вид официального документа и так, для пущей важности, он, достав печать из ящика стола, помусолив ее, громко пришлёпнул к бумажке рядом с росписью. Подавая дежурному посыльному по совету, бойкому парню-подростку из Шегалева, эту вчетверо сложенную бумажку, Кузьма сказал:

– На, отнеси вот это моей бабе, жене то есть, только не развертывай и не читай.

– Ладно, – сказал парень и вприпрыжку ускакал по назначению.

Парень, помня наказ, и не думал читать, что в записке сказано. Но Митька Кочеврягин, узнав, что парень бежит с поручением, перехватив его, заинтересовался и прочитал записку, узнав о ее содержании.

Долго потом Митька разыгрывал Кузьму. Народно он рассказывал анекдот мужикам и бабам о той записке, для большего эффекта прибавляя словесные дополнения к ней от себя лично.

Вечером, придя домой, Кузьма властно, но с некоторым снисхождением, обрушился на жену.

– Ты что мне обед-то не прислала, ведь получала записку?

– Ну получала! А чего я тебе прислала бы? Сам знаешь, что нечего. Корова доить перестала и не знай, когда отелится.

– Я ведь сейчас за председателя, и некогда мне домой обедать ходить.

– А мне что ж, ты – председатель, вон, бери хлеб и ешь. А сперва умойся, что у тебя нос то грязный, словно с курами ты клевал.

– Как с курами?

– Так, погляди-ка в зеркало: на кончике-то носа грязь.

Он, взглянув в засиженный мухами осколок зеркала, прибитый на стене большими гвоздями, сконфуженно проговорил:

– Эх, и правда! – и, плюнув на ладонь, оттер грязь с носа.

Умывальника у них в доме нет, вся семья поочередно умывается над чугуном в чулане, сама же хозяйка-стряпуха редко, когда прибегает к чистоплотности. Во время стряпни руки мыть некогда.

– Ты хоть налей мне похлёбки, – попросил Кузьма.

– Открывай печь, вынимай чугун и сам наливай, сколько тебе надо, – хладнокровно и не чувствуя за собой подчинённости, ответила ему жена.

Кузьма, налив в почерневшую от старости деревянную чашку похлёбки, стал запоздало обедать.

– Ну и похлёбка, жидка, набузырил я одной воды. Всю Москву видно! – с явным недовольством провозгласил Кузьма.

– А ты мяса-то приготовил? Сам знаешь, оно у нас в диковинку, раз в год, на Пасху. А молоко-то в Троицу.

– Татьян, ты вот что: я вот сниму штаны, ты их сначала выстирай, а потом наложи заплату. Видимо, на самой ж... протерлись, – переводя разговор с темы о пище на другое и подмигивая косым глазом, добродушно попросил он жену.

– А ты бы поменьше там в совете-то по стульям задом-то елозил, поберег бы последние штаны.

Бедновато живет в своем хозяйстве Кузьма. Изба пристарело покосилась на печной бок, крыша прохудилась, в дождливое время с потолка покапывает, матица подгнила, пришлось подставку подпереть под нее, а пятистенные трубы, когда-то приготовленные для перестройки, гниют. На счёт труб Кузьма частенько напоминали хозяйственные мужики, упрекая его в халатности. Однажды даже Яков Забродин сделал замечание насчёт чтения книг и струбов:

– Ты, Дорофеич, какой-то бездумный! Забил себе голову пустяками, будет ли у тебя в хозяйстве спориться! Такие трубы на задах у озера догнивают, а ты с постройкой не чешешься, – сокрушённо покачивая головой, укорял Кузьму Яков.

– Это не твоя забота, а моя, о своем хозяйстве беспокоиться. Я как-нибудь и сам справлюсь, без подсказывателей. – невыдержанно и досадливо сгрубил на замечания Кузьма. – Я хотя и плохонький, а в своем доме хозяин.

Кузьма, служа в совете, норовит, как бы за казенный счет проехать: где подвыпить, где на чужбинку закурить, где не за свой счет и пообедать. И не поэтому ли в хозяйстве у него не только не процветает, а наоборот, все «цветёт» и приходит в полный упадок, двор раскрытый, крыльца у дома нет, и все хуже и хуже. В разговоре с мужиками на хозяйственные темы Кузьма же удивляется, что за диво! – и работаем мы с Татьяной, как люди: летом сенокосим и жнём, не покладая рук до упаду, и ничто у нас не спорится, как в провальную яму все у нас девается. Приходится только диву даваться! На это ему мужики притаённо и скромно замечали: «Поменьше тебе надо книжонками увлекаться!»

– Я уж не виноват, что у меня в доме хлеба нет ни корки, дров ни полена, – оправдывался Кузьма.

Частенько приходится Кузьме, пришедши из совета домой на обед, довольствоваться одним хлебом с водой, корова-то не доится, но он не взыскателен. Иногда он жалобно говорил жене:

– С голоду живот к спине подвело, я что-то заболел, – и валился на самодельную, с точеными ножками, кровать, стоящую взад у двери в кутием углу. На кровати вместо постели валялось разное тряпье и две грязные, затасканные подушки, от которых воняло детской мочой и прочей дрянью.

– Чем это ты заболел, что у тебя болит? – вкрадчиво, с недоверием поинтересовалась жена.

– Не знаю, во всем теле ломота.

– Может быть, за фельдшером послать? – участливо предложила Татьяна.

– Нет, не ходи, никакой фельдшер не вылечит, – уткнувшись в подушку, пробурчал Кузьма. – Одна только ты можешь вылечить.

– А чем?

– Приляг со мной на постель, я тебе на ухо шепну.

– Вот ищо чего выдумал! – Поняв намерение мужа, забрюзжала она на него. – Ищо чего не знаешь ли?

– Нет, не знаю. Живот на живот, и все подживёт.

Делать нечего, пришлось Татьяне прилечь. Но, воспользовавшись подходящим случаем, начала, жалуясь, напевать ему в ухо:

– Глазыньки бы мои не глядели на все это. В амбаре ни зерна, на дворе дров ни палки, а ему и горя мало! Только бы книжки, да кровать, а откуда бы все бралось. Все глазыньки на людей прозавидовала. Люди живут как люди, а мы бьемся, как рыба об лед. Теленок последнюю юбку у меня изжевал, пришлось последний праздничный сарафан по будням заносить. Весь ребятишки его обмызгали, в праздник выйти на люди не в чем будет. Стыдовище. Куделю последнюю испряла, ребятишкам на портки поткать не из чего. И на тебе рубаха грязная, через коленку не перегнешь. День ото дня все хуже и хуже, а тебе и горяшка мало. Сплел бы хоть корзинку, картошку помыть не в чем. Детей бы пожалел, а не меня!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.